

Константин СИМОНОВ

СТИХИ



БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»
№ 43—44
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
МОСКВА — 1946

Константин СИМОНОВ

С Т И Х И

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
Москва — 1946

КОНСТАНТИН СИМОНОВ

Константин (Кирилл) Михайлович Симонов родился в 1915 году в Петрограде. После окончания школы-семилетки около пяти лет работал токарем на разных производствах (в Саратове и Москве).

В 1938 году К. Симонов окончил Литературный институт при Союзе советских писателей. В том же году выпустил первую книжку стихов.

В 1939 году К. Симонов был военным корреспондентом на Халхин-Голе, а в 1941—1945 годах — корреспондентом газеты «Красная звезда» на разных фронтах. За работу в армии награждён орденом боевого Красного знамени, двумя орденами Отечественной войны первой степени.

Основные работы К. Симонова: книги стихов «Настоящие люди», «Стихи 1939 г.», «С тобой и без тебя», «Война»; пьесы «Парень из нашего города», «Русские люди», «Так и будет», «Под каштанами Праги»; повесть «Дни и ночи».

За пьесы «Парень из нашего города», «Русские люди» и за повесть «Дни и ночи» К. Симонову присуждены Сталинские премии.

*
* * *

Всю жизнь любил он рисовать войну.
Беззвёздной ночью, наскочив на мину,
Он вместе с кораблём пошёл ко дну,
Не дописав последнюю картину.

Всю жизнь лечиться люди шли к нему,
Всю жизнь он смерть преследовал жестоко
И умер, сам привив себе чуму,
Последний опыт кончив раньше срока.

Всю жизнь привык он пробовать сердца.
Начав ещё мальчишкой с «Ньюпора»,
Он в сорок лет разбился, до конца
Не испытал последнего мотора.

Никак не можем помириться с тем,
Что люди умирают не в постели,
Что гибнут вдруг, не дописав поэм,
Не долечив, не долетев до цели.

Как будто есть последние дела,
Как будто можно, кончив все заботы,
В кругу семьи усесться у стола
И отдыхать под старость от работы...

1939

ГЕНЕРАЛ

Памяти Матэ Залка

В горах этой ночью прохладно.
В разведке намаевшись днём,
Он греет холодные руки
Над жёлтым походным огнём.

В кофейнике кофе клокочет,
Солдаты усталые спят.
Над ним арагонские лавры
Тяжёлой листвой шелестят.

И кажется вдруг генералу,
Что это зелёной листвой
Родные венгерские липы
Шумят над его головой.

Давно уж он в Венгрии не был,
С тех пор, как попал на войну,
С тех пор, как он стал коммунистом
В далёком сибирском плену.

Он знал уже грохот тачанок
И дважды был ранен, когда
На запад, к горячей отчизне,
Мадьяр повезли поезда.

Зачем в Будапешт он вернулся?
Чтоб драться за каждую пядь,
Чтоб плакать, чтоб, стиснув зубы,
Бежать за границу опять.

Он этот приезд не считает,
Он помнит все эти года,
Что должен задолго до смерти
Вернуться домой навсегда.

С тех пор он повсюду воюет:
Он в Гамбурге был под огнём,
В Чапее о нём говорили,
В Хараме слышали о нём.

Давно уж он в Венгрии не был,
Но, где бы он ни был, над ним
Венгерское синее небо,
Венгерская почва под ним.

Венгерское красное знамя
Его выручает в бою.
И, где б он ни бился, он всюду
За Венгрию бьётся свою.

Недавно в Москве говорили,
Я слышал от многих, что он
Осколком немецкой гранаты
В бою под Уэской сражён.

Но я никому не поверю:
Он должен ещё воевать,
Он должен в своём Будапеште
До смерти ещё побывать.

Пока ещё в небе испанском
Германские птицы видны,
Не верьте: ни письма, ни слухи
О смерти его неверны.

Он жив. Он сейчас под Уэской.
Солдаты усталые спят.
Над ним арагонские лавры
Тяжёлой листвой шелестят.

И кажется вдруг генералу,
Что это зелёной листвой
Родные венгерские липы
Шумят над его головой.

1937

РАССКАЗ О СПРЯТАННОМ ОРУЖИИ

Сюжет заимствован у Р. Х. Сендера

Им пятый день давали есть
Солёную треску.
Тюремный повар вырезал
Им лучшие куски —
На ужин, завтрак и обед
По жирному куску
Отборной, розовой, насквозь

Просоленной трески.
Начальник клялся, что стократ
Сытнее всех его солдат
Два красных арестанта
В его тюрьме едят.
А если им нужна вода,
То это блажь и ерунда:
Пуускай в окно на дождик,
Разиня рот, глядят.

Они валялись на полу,
Холодном и пустом.
Две одиночки дали им,
Одним на всю тюрьму,
Чтоб в одиночестве они
Припомнили о том,
Известном только им двоим
И больше никому.
А чтоб помочь им вспоминать,
Пришлось топтать их и пинать.
По спинам их гуляли
Дубинки и ремни,
К ним возвращалась память, но
Они не вспомнили одно:
Где спрятано оружие, —
Не вспомнили они.

Однажды старшего из них
Под вечер взял конвой.
Он шёл сквозь двор и жадным ртом
Пытался дождь глотать.
Но мелкий дождик пролетал,
Крутясь, над головой,
И пересохший рот не мог
Ни капельки поймать.
Его втокнули в кабинет.
«Ну, как, припомнил или нет?» —
Спросил его начальник.
А посреди стола,
Зовя его ответить «да»,
Стояла свежая вода
За ледяною стенкой
Вспотевшего стекла.

Сухие губы облизав,
Он выговорил: «Да,
Я вспомнил. Где-то под землёй
Его зарыли мы,
Одно не помню только: где?»
А чортова вода
Над ним смеялась со стола
Начальника тюрьмы.
Начальник, прекратив допрос,
Ему стакан воды поднёс
К сухим губам вплотную
И... выплеснул в окно!
«Забыл? Но через пять минут
Сюда другого приведут.
Не ты, так твой товарищ
Припомнит, всё равно!»

Начальник вышел. Арестант
Услышал скрип дверной,
И в дверь ввалился тот, другой,
Оковами звеня.
Со стоном прислонясь к стене
Распухшею спиной,
Он прошептал: «Я не могу...
Они ведь бьют меня...
Я скоро сдамся, и тогда
Язык мой сам подскажет: «Да»...
Я знаю: в сером доме,
В подвале, в глубине...»
«Молчи!» «Ещё молчу... пока...»
А двери скрипнули слегка,
И в них вошёл начальник:
«Ну, кто ж расскажет мне?»
И старший арестант шепнул
С усмешкою кривой:
«Чорт с ним, с оружием! Всё равно
Дела к концу идут.
Я всё скажу вам, но пускай
Сначала ваш конвой
Того, другого, уведёт,
Он будет лишним тут».

Солдаты, отодрав с земли
Того, другого, унесли,
Локтями молча тыча
В его кричащий рот.
Тот ничего не понял, но
Кричал и рвался; всё равно
Он знал, что снова будут
Бить в рёбра и в живот.

«Кричит!» — заметил арестант
И, побледнев едва,
За всё, что выдаст, попросил
Себе награды три:
Стакан воды сейчас же — раз,
Свободу завтра — два,
И сделать так, чтоб тот, другой,
Молчал об этом — три.
Начальник рассмеялся: «Мы
Его не пустим из тюрьмы.
И слово кабаљеро,
Что завтра, к двум часам...»
«Нет, я хочу не в два, не в час,
Пускай он замолчит сейчас!
Я на слово не верю,
Я должен видеть сам».

Начальник твёрдою рукой
Придвинул телефон:
«Алло! Сейчас же номер семь
Отправить в карцер, но
Весьма возможно, что бежать
Пытаться будет он...
Тогда стреляйте так, чтоб я
Видал через окно...»
Он смаху бросил трубку: «Ну?»
И арестант побрёл к окну
И толстую решётку
Тряхнул одной рукой.
Тюремный двор и гол и пуст,
Торчит какой-то дохлый куст.
И через двор понуро
Плётётся тот, другой.

Конвой отстал на пять шагов,
Настала тишина.
Уже винтовки поднялись,
А тот бредёт сквозь двор...
Раздался залп. И арестант
Отпрянул от окна:
«Вам про оружие рассказать,
Не правда ли, сеньор?
Мы спрятали его давно.
Мы двое знали, где оно.
Товарищ мог бы выдать
Под пыткой палачу.
Ему, который мог сказать,
Мне удалось язык связать.
Он умер и не скажет.
Я жив — и я молчу!»

1936

ИЗГНАННИК

Посвящается испанским республиканцам

Нет больше родины. Нет неба, нет земли.
Нет хлеба, нет воды. Всё взято.
Земля. Он даже не успел в слезах, в пыли
Припасть к ней пересохшим ртом солдата.

Чужое море билось за кормой,
В чужое небо пену волн швыряя.
Чужие люди ехали домой,
Над ухом это слово повторяя.

Он знал язык. Они его жалели вслух
За костыли и за потёртый ранец,
А он, к несчастью, не был глух,
Бездомная собака, иностранец.

Он высадился в Лондоне. Семь дней
Искал он комнату. Ещё бы!

Ведь он искал такой чердак, чтоб был бедней
Последней лондонской трущобы.

И наконец нашёл. В нём потолки текли,
На плитах пола промокали туфли,
Он на ночь у стены поставил костыли —
Они к утру от сырости разбухли.

Два раза в день спускался он в подвал,
И медленно, скрывая нетерпенье,
Ел чёрствый здешний хлеб и запивал
Воючим пивом за два пенни.

Он по ночам смотрел на потолок
И удивлялся, ничего не слыша,
Где «юнкеры», где неба чёрный клок
И звёзды сквозь разодранную крышу?

На третий месяц здесь, на чердаке,
Его нашёл старик, прибывший с юга.
Старик был в штатском платье, в котелке.
Они едва смогли узнать друг друга.

Старик спешил. Он выложил на стол
Приказ и деньги — это означало,
Что первый час отчаянья прошёл,
Пора домой, чтоб всё начать сначала,

Но он не может. «Слышишь, не могу», —
Он показал на раненую ногу.
Старик молчал. «Ей богу, я не лгу,
Я должен отдохнуть ещё немного».

Старик молчал. «Ещё хоть месяц так,
А там — пускай опять штыки, застенки, мавры».
Старик с улыбкой расстегнул пиджак
И вынул из кармана ветку лавра.

Три лавровых листка. Кто он такой?
Чтоб забывать на родину дорогу?
Он их смотрел на свет. Он гладил их рукой.
Губами осторожно трогал.

Как он успел забыть? Три лавровых листка.
Что может быть прочней и проще?
Не всё ещё потеряно, пока
Там не завяли лавровые рощи.

Он в полночь выехал. Как родина близка,
Как долго пароход идёт в тумане...

.
Когда он был убит, три лавровых листка
Среди бумаг нашли в его кармане.

1939

СТАРИК

Памяти Амундсена

Весь дом пенькой проконопачен прочно,
Как корабельное сухое дно,
И в кабинете круглое нарочно
На океан прорублено окно.

Тут всё кругом привычное, морское,
Такое, чтобы, вставши на причал,
Свой переход к свирепому покою
Хозяин дома реже замечал.

Он стар. Под старость странствия опасны,
Король ему назначил пенсион.
И с королём на этот раз согласны
Его шофёр, кужарка, почтальон.

Следят, чтоб ночью угли не потухли,
И сплетничают разным докторам,
И по утрам подогревают туфли,
И пива не дают по вечерам.

Все подвиги его давно известны,
К бессмертной славе он приговорён.
И ни одной душе неинтересно,
Что этой славой недоволен он.

Она не стоит одного ночлега
Под спальным, шерстью пахнущим мешком,

Одной щепотки тающего снега,
Одной затяжки крепким табаком.

Ночь напролёт камин ревёт в столовой,
И, кочергой помешивая в нём,
Хозяин, как орёл белоголовый,
Нахохлившись, сидит перед огнём.

По радио всю ночь бюро погоды
Предупреждает, что кругом шторма,—
Пуškai в портах швартуют пароходы
И запирают накрепко дома.

В разрядах молний слышимость всё глуше,
И вдруг из тыщевёрстной темноты
Предсмертный крик: «Спасите наши души!» —
И градусы примерной широты.

В шкафу висят забытые одежды:
Комбинезоны, спальные мешки...
Он никогда бы не подумал прежде,
Что могут так заржаветь все крючки...

Как трудно их застёгивать с отвычки,
Дождь бьёт по стёклам мокрою листвою,
В резиновый карман табак и спички,
Револьвер — в задний, компас — в боковой.

Уже с огнём забегали по дому,
Но, заревев и прыгнув из ворот,
Машина по пути к аэродрому
Давно ушла за первый поворот.

В лесу дубы, как вымокшие свечи,
Над головой сгибаются, треща,
И дождь, ломаясь налету о плечи,
Стекает в чёрный капюшон плаща.

.

Под осень, накануне ледостава,
Рыбачий бот, уйдя на промысла,
Нашёл кусок его бессмертной славы —
Обломок обгоревшего крыла.

1939

МАЛЬЧИК

Когда твоя тяжёлая машина
Пошла к земле, ломаясь и гремя,
И чёрный столб взбешённого бензина
Поднялся над кабиною стоймя,
Сжимая руль в огне последней вспышки,
Разбитый и притиснутый к земле,
Ты ничего не вспомнил о мальчишке,
Который жил в Клину или в Орле.
Как ты, не знал он головокруженья,
Как ты, он был упрям, драчлив и смел,
Он самое прямое отношение
К тебе, в тот день погибшему, имел.

Пятнадцать лет он медленно и твёрдо
Лез в небеса, упрямо сжав штурвал,
И все тобой не взятые рекорды
Он дерзкою рукой завоевал.
Когда его тяжёлая машина
Перед посадкой встала на дыбы
И, как жестянка, сплющилась кабина,
Задев за телеграфные столбы,
Сжимая руль в огне последней вспышки,
Придавленный к обугленной траве,
Конечно, он не вспомнил о мальчишке,
Который рос в Твери или в Москве...

Когда уже известно, что в газетах
Назавтра будет чёрная кайма,
Мне хочется, поднявшись до рассвета,
Врываться в незнакомые дома,
Искать ту неизвестную квартиру,
Где спит, уже витая в облаках,
Мальчишка, рыжий, маленький задира,
Весь в ссадинах, веснушках, синяках.

1939

МУРМАНСКИЕ ДНЕВНИКИ

У окружкома на виду
Висела карта. Там на льду
С утра в кочующий кружок
Втыкали маленький флажок.
Гостиница полным-полна.
Портье метались дотемна,
Распределяя номера.
Швейцары с заднего двора
Наверх тянули тюфяки.
За ними на второй этаж,
Стащив замёрзшие очки,
Влезал воздушный экипаж.
Пилоты сутки шли впотьмах,
Они давно отвыкли спать,
Им было странно, что в домах
Есть лампа, печка и кровать.
Да, прямо скажем, этот край
Нельзя назвать дорогой в рай.
Здесь жёстко спать, здесь трудно жить,
Здесь можно голову сложить.
Здесь, приступив к любым делам,
Мы мир делили пополам:
Врагов встречаешь — уничтожь,
Друзей встречаешь — поделись.
Мы здесь любили и дрались,
Мы здесь страдали. Ну и что ж?
Не на кисельных берегах
Рождалось мужество. Как мы,
Оно в дырявых сапогах
Шло с Печеньги до Муксольмы.
У окружкома на виду
Большая карта. Там на льду
В том самом месте, где в кружок
Воткнули маленький флажок,
Там, где, мозоля нам глаза,
Легла на глобус бирюза,
На деле там черным-черно,
Там солнца не было давно.
За тыщу вёрст среди глубин
На льду темнеет бивуак.

Но там, где четверо мужчин
И на древке советский флаг,
Там можно встать к руке рука,
Касаясь спинами древка,
И, как испытанный сигнал,
Запеть «Интернационал».
Пусть будет голос хрипл и груб,
Пускай с растрескавшихся губ
Слетает песня чуть слышна —
Её и так поймёт страна.
Гостиница полным-полна,
Над низкой бухтою туман,
Десятибалльная волна
Ревёт у входа в океан.
К Ял-Майнену, оставив порт,
В свирепый шторм ушли суда.
Семисаженная вода
Перелетает через борт.
Бушует норд. Вчера Москва
Послала дирижабль. Ни зги!
По радио сквозь вой пурги
Едва доносятся слова.
Бушует норд. Радист в углу,
Охрипнув, кроет целый мир;
Он разгребает, как золу,
Остывший и пустой эфир.
Где дирижабль? Стряслась беда...
Бушует норд. В двухстах верстах
Был слышен взрыв. Сейчас туда
Отправлен экстренный состав.
За эту ночь ещё пришло
Два самолёта. Не до сна.
Весь окружком не спит. Светло,
Гостиница полным-полна.
Сегодня в восемь пять утра
Нашли разбившихся. В дугу
Согнулся остов. На снегу
Живые грелись у костра.
Был выполнен военный долг,
В гробы положены тела.
Их до ближайшего села
Сопровождает местный полк.

Другим летели помогать —
Погибли сами. Чтоб не лгать, —
Удар тяжёл. Но на земле
Есть племя храбрых. Говорят,
Что в ту же ночь другой отряд
Ушёл на новом корабле.
У окружкома на виду
Большая карта. Там на льду
С утра в кочующий кружок
Втыкают маленький флажок.
Всю ночь с винтовкой, как всегда.
Вдоль рейда ходит часовой.
Тут ждут ледовые суда
В готовности двухчасовой.
До кромки льда пять дней пути,
Крепчает норд. Ещё в порту,
Товарищ, крепче прикрути
Всё, что нетвёрдо на борту.
Поближе к топкам и котлам
Всю ночь механики стоят,
Всю ночь штормит, — быть может, нам
Большие жертвы предстоят.
В больницу привезён пилот,
Он весь один сплошной ожог.
Лишь от бровей — глаза и рот —
Незабинтованный кружок.
Он говорит с трудом: «Когда
Стряслась с гондолою беда,
Когда в кабине свет погас,
Я стал наощупь шарить газ,
Меня швырнуло по борту.
Где ручка газа? Кровь во рту.
Об радиатор, об углы,
Об потолок и об полы.
Где ручка? На десятый раз
Я выключил проклятый газ.
Напрасный труд! Сквозь верхний люк
Врывалось пламя. Через щель
Внизу я видел снег и ель.
Тогда, сдирая кожу с рук,
Я вылез вниз. Кругом меня
Свистало зарево огня.

Я в снег зарылся с головой,
Но чувствуя ни рук, ни ног,
Я полз по снегу, чуть живой,
Трясаясь от боли, как щенок.
Меня перенесли к костру.
Нас всех в живых осталось шесть.
Всем было скверно. Лишь к утру
Мы захотели спать и есть.
Обломки тлели. Тишина.
Лишь изредка в полночный мрак
Взлетал нагретый докрасна
Какой-нибудь запасный бак.
Всю ночь нас пробирала дрожь.
Нам было всем, как острый нож,
Смотреть туда, где на снегу
Тлеет остов, выгнутый в дугу.
Забыв на миг свою беду,
Мы представляли, что на льду,
Вот так же сидя, как и мы,
К огню придвинувши пимы,
Четыре наших парня ждут,
Когда им помощь подадут.
Нам холодно. Им холодней:
Они сидят там много дней.
Уже кончается зима.
А где же мы? Вода кругом...
Чтоб не сойти совсем с ума,
Нам надо думать о другом.
Что ж, о другом, так о другом!
Давай о самом дорогом.
Но что ж и мне и всем другим
Казалось самым дорогим?
Вот так же сидя, как и мы,
К огню придвинувши пимы,
Четыре парня молча ждут,
Когда им помощь подадут...»
Ночь. На кровати лётчик спит.
Сестра всю ночь над ним сидит.
Он беспокойный, он такой —
Он может встать. Да что покой?
Как может предписать покой
Тот врач, который в свой черёд
С утра дрожащею рукой

Газету в ящике берёт?
На старой милой нам земле
Есть много мужества. Оно
Не в холе, воле и тепле,
Не в колыбели рождено.
Лишь мещанин придумать мог
Мир без страстей и без тревог:
Не только к звукам арф и лир
Мы будем приучать детей.
Мир коммунизма — дерзкий мир
Больших желаний и страстей.
Где пограничные столбы, —
Там встанут клёны и дубы.
Но яростней, чем до сих пор,
Затеют внуки день за днём
Жестокий спор, кровавый спор
С водой, землёю и огнём.
Чтоб все стихии нам взнуздать,
Чтоб все оковы расковать,
Придётся холодать, страдать,
Быть может, жизнью рисковать.
На талом льду за тыщу вёрст,
Где снег колюч и ветер чёрств,
Четыре наших парня ждут,
Когда им помощь подадут.
Есть в звуке твёрдых их имён,
В чертах тревожной их судьбы
Начало завтрашних времён,
Прообраз будущей борьбы.
Я вижу: где-то вдалеке,
На льду, на углу островке,
На стратоплане, на луне,
В опасности, спиной к спине,
Одежду, хлеб и кров деля,
Горсть земляков подмоги ждёт,
И вся Союзная земля
К своим на выручку идёт.
И на флагштоках всех судов
Плывёт вперёд сквозь снег и мрак,
Сквозь стаи туч, сквозь горы льдов
Земного шара гордый флаг.

1938

ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКСПРЕСС

У этого поезда плакать не принято. Штраф.
Я им говорил, чтоб они догадались повесить.
Нет, не десять рублей. Я иначе хотел, я был прав,—
Чтобы плачущих жён удаляли с платформы за десять...

Понимаете вы, десять самых последних минут,
Те, в которые, что ни скажи,— не дослышат,
Те, в которые жёны перчатки отчаянно мнут,
Бестолковые буквы по стёклам навыворот пишут.

Эти десять минут взять у них, пригрозить, что возьмут,
Они насухо вытрут глаза ещё дома, в передней.
Может, наше тиранство не все они сразу поймут,
Но на десять минут подчинятся нам все до последней.

Да, пускай улыбнётся. Она через силу должна,
Чтоб надолго запомнить лицо её очень спокойным.
Как охранная грамота, эта улыбка нужна
Всем, кто хочет привыкнуть к далёким дорогам и войнам.

Вот конверты, в пути пожелтевшие, как сувенир,—
Над почтовым вагоном семь раз изменялась погода,—
Шахматисты по почте играют заочный турнир,
По два месяца ждут от партнёра ответного хода.

Надо просто запомнить глаза её. голос, пальто —
Всё, что любишь давно, пусть хоть даже ни за что ни про
что,

Надо просто запомнить и больше уже ни на что
Не ворчать, когда снова застрянет в распутицу почта.

И домой возвращаясь, считая все вздохи колёс,
Чтоб с ума не сойти, сдав соседям себя на поруки,
Помнить это лицо без кровинки, зато и без слёз,
Эту самую трудную маску — спокойной разлуки.

На обратном пути будем приступом брать телеграф,
Сыпать молнии на Ярославский вокзал, в управление;
У этого поезда плакать не принято. Штраф.
— Мы вернулись! Пусть плачут. Снимите своё
объявление.

1939

МЕХАНИК

Я знаю, что книгами и речами
Пилота прославят и без меня.
Я лучше скажу о том, кто ночами
С ним рядом просиживал у огня,

Кто вместо с пилотом пил спирт и воду,
Кто с ним пополам по Москве скучал,
Кто в самую дьявольскую погоду
Сто раз провожал его и встречал.

Я помню, как мы друзей провожали
Куда-нибудь в летние отпуска;
Как щедры мы были, как долго держали
Их руки в своих, до второго звонка!

Но как прощаться, когда по тревоге
Машина уходит в небо винтом?
И, руки раскинув, расставив ноги,
В степи остаёшься стоять крестом.

Полнеба окинув усталым взглядом,
Ты молча ложишься лицом в траву;
Тут всё наизусть, тут давно не надо
Смотреть в надоевшую синеву.

Ты знаешь по опыту и по слуху:
Сейчас за грядой песчаных горбов
С ударами, еле слышными уху,
Обрушилось десять чёрных столбов.

Чья мать потеряет сегодня сына?
Чей друг заночует в палатке один?
С одинаковым дымом горит резина,
Одинаково вспыхивает бензин.

Никогда ещё в небе так поздно он не был...
Сквозь палатку зажётся первый огонь.
Ты, как доктор, угрюмо слушаешь небо,
Трубкой к нему приложив ладонь.

Нет, когда мы справлялись об опоздании,
Выходили встречать к «Полярной стреле»,
Нет, мы с вами не знали цены ожидания —
Ремесла остающихся на земле.

1939

КУКЛА

Мы сняли куклу со штабной машины.
Спасая жизнь, ссылаясь на войну,
Три офицера — храбрые мужчины —
Её в машине бросили одну.

Привязанная ниточкой за шею,
Она, бежать отчаявшись давно,
Смотрела на разбитые траншеи,
Дрожа в своём холодном кимоно.

Земли и брёвен взорванные глыбы;
Кто не был мёртв, тот был у нас в плену.
В тот день они и женщину могли бы,
Как эту куклу, бросить здесь одну...

Когда я вспоминаю поражение.
Всю горечь их отчаянья и страх,
Я вижу не воронки в три сажени,
Не трупы на дымящихся кострах,—

Я вижу глаз её косые щёлки,
Пучок волос, затянутый узлом,
Я вижу куклу на кручёном шёлке,
Висящую за выбитым стеклом.

1939

ТАНК

Вот здесь он шёл. Окопов три ряда.
Цепь волчьих ям с дубовой щетиной.
Вот след, где он попятился, когда
Ему взорвали гусеницы миной.
Но под рукою не было врача,
И он привстал, от хромоты страдая,
Разбитое железо волоча,
На раненую ногу припадая.
Вот здесь он, всё ломая, как таран,
Кругами полз по собственному следу
И рухнул, обессилевший от ран,
Добыв пехоте трудную победу.

.
Уже к рассвету, в копоты, в пыли,
Пришли ещё дымящиеся танки.
И сообща решили в глубь земли
Зарыть его железные останки.
Он словно не закапывать просил,
Ещё сквозь сон он видел бой вчерашний,
Он упирался, он что было сил
Ещё грозил своей разбитой башней.
Чтоб видно было далеко окрест,
Мы холм над ним насыпали могильный,
Прибив звезду фанерную на шест —
Над полем боя памятник посильный.

.
Когда бы монумент велели мне
Воздвигнуть всем погибшим здесь, в пустыне,
Я б на гранитной тёсаной стене
Поставил танк с глазницами пустыми;
Я выкопал его бы, как он есть,
В пробоинах, в листах железа рваных, —
Невянущая воинская честь
Есть в этих шрамах, в обгорелых ранах.
На постамент взобравшись высоко,
Пусть, как свидетель, подтвердит по праву:
Да, нам далась победа нелегко.
Да, враг был храбр. Тем больше наша слава.

1939



Семь километров северо-западнее Баин-Бурта
И семь тысяч километров юго-восточнее Москвы,
Где вчера ещё били полотняными крыльями юрты,
Только снег заметает обгорелые стебли травы.

Степи настужь открыты буранам и пургам.
Где он, войлочный город, посёлок бессонных ночей,
В честь редактора названный кем-то из пас Ортенбургом,
Не внесённый на карты недолгий приют москвичей?

Только круглые ямы от старых бомбёжек,
Только сломанный термос, забытый подарок жены,
Волки нюхают термос, находят у снежных дорожек
Пепел писем, которые здесь сожжены.

Полотняный и войлочный, как же он сдался без бою,
Он, так гордо, как парусник, пливший сквозь эти пески?
Может, мы, уезжая, и город забрали с собою,
Положили его в вещевые мешки?

Нам труднее понять это в людных, огромных,
Как возьмёшь их с собою — дома, магазины, огни...
Да, и всё-таки мы, уезжая, с собою берём их
И, вернувшись, их ставим не так, как стояли они.

Тут, в степи, это легче, тут всё исчезает и тает,
След палатки с песчаным, травой зарастающим швом,
Может, в этом и мужество — знать, что следы заметает,
Что весь мир умещается в нашем мешке вещевом.

1939

ПОРУЧИК

Уж сотый день врезаются гранаты
В Малахов окровавленный курган,
И рыжие британские солдаты
Идут на штурм под хриплый барабан.

А крепость Петропавловск на Камчатке
Погружена в привычный, мирный сон.
Хромой поручик, натянув перчатки,
С утра обходит местный гарнизон.

Седой солдат, откозыряв неловко,
Трёт рукавом ленивые глаза,
И возле пушек бродит на верёвке
Худая гарнизонная коза.

Ни писем, ни вестей. Как ни проси их,
Они забыли там, за семь морей,
Что здесь, на самом кончике России,
Живёт поручик с ротой егерей.

Поручик, долго щурясь против света,
Смотрел на юг, на море, где вдали —
Неужто нынче будет эстафета? —
Маячили как будто корабли.

Он взял трубу. По зыби, то зелёной,
То белой от волнения, сюда,
Построившись кильватерной колонной,
В тумане шли британские суда.

Зачем пришли они из Альбиона?
Что нужно им? Донёсся дальний гром,
И волны у подножья бастиона
Вскипели, обожжённые ядром.

Полдня они палили наудачу.
Грозя весь город обратить в костёр.
Держа в кармане требование сдачи,
На бастион взошёл парламентёр.

Поручик, в хромоте своей увидя
Опасность для достоинства страны,
Надменно принимал британца, сидя
На лавочке у крепостной стены.

Что защищать? Заржавленные пушки,
Две улицы, то в лужах, то в пыли,
Косые гарнизонные избушки,
Клочок не нужной никому земли?

Но все-таки ведь что-то есть такое,
Что жаль отдать британцу с корабля?
Он горсточку земли растёр рукою —
Забытая, а всё-таки земля.

Дырявые, обветренные флаги
Над крышами шумят среди ветвей...
«Нет, я не подпишу твоей бумаги,
Так и скажи Виктории своей!»

.

Уже давно британцев оттеснили,
На крышах залатали все листы,
Уже давно всех мёртвых схоронили,
Поставили сосновые кресты.

Когда санктпетербургские курьеры
Вдруг привезли, на год застряв в пути,
Приказ принять решительные меры
И гарнизон к присяге привести.

Для боевого действия к отряду
Был прислан в крепость новый капитан,
А старому поручику в отраду
Был полный отпуск с пенсией дан!

Он всё ходил по крепости, бедняга,
Всё медлил влезть по сходням корабля...
Холодная казённая бумага,
Нелепая любимая земля.

1939

РОДИНА

Касаясь трёх великих океанов,
Она лежит, раскинув города,
Вся в чёрных обручах меридианов,
Непобедима, широка, горда.

Но в час, когда последняя граната
Уже занесена в твоей руке

И в краткий миг припомнить разом надо
Всё, что у нас осталось вдалеке.

Ты вспоминаешь не страну большую,
Какую ты изъездил и узнал,
Ты вспоминаешь родину, такую,
Какой её ты в детстве увидал.

Кусок земли, припавший к трём берёзам,
Далёкую дорогу за леском,
Речонку со скрипучим перевозом,
Песчаный берег с низким ивняком.

Вот где нам посчастливилось родиться,
Где на всю жизнь, до смерти мы нашли
Ту горсть земли, которая годится,
Чтоб видеть в ней приметы всей земли.

Да, можно выжить в зной, в грозу, в морозы,
Да, можно голодать и холодать,
Идти на смерть... Но эти три берёзы
При жизни никому нельзя отдать.

1942

* * *

А. Суркову

Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины,
Как шли бесконечные злые дожди,
Как кринки несли нам усталые женщины,
Прижав, как детей, от дождя их к груди.

Как слёзы они вытирали украдкой,
Как вслед нам шептали: «Господь вас спаси!»
И снова себя называли солдатками,
Как встарь повелось на Великой Руси.

Слезами измеренный больше, чем вёрстами,
Шёл тракт, на пригорках скрываясь из глаз:
Деревни, деревни, деревни с погостами,
Как будто на них вся Россия сошлась.

Как будто за каждую русской околицей
Крестом своих рук ограждая живых,

Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся
За в бога не верящих внуков своих,

Ты знаешь, наверное, всё-таки родина —
Не дом городской, где я празднично жил,
А эти посёлки, что дедами пройдены,
С простыми крестами их русских могил.

Не знаю, как ты, а меня с деревенскою,
Дорожной тоской от села до села,
Со вдовьей слезою и с песнею женскою
Впервые война на просёлках свела.

Ты помнишь, Алёша: изба под Борисовом,
По мёртвому плачущий девичий крик,
Седая старуха в салопчике плисовом,
Весь в белом, как на смерть одетый, старик.

Ну, что им сказать, чем утешить могли мы их?
Но, горе поняв своим бабьим чутьём,
Ты помнишь, старуха сказала: «Родимые,
Покуда идите, мы вас подождём».

«Мы вас подождём», — говорили нам пажити.
«Мы вас подождём», — говорили леса.
Ты знаешь, Алёша, ночами мне кажется,
Что следом за мной их идут голоса.

По русским обычаям, только пожарища
По русской земле раскидав позади,
На наших глазах умирают товарищи,
По-русски рубаху рванув на груди.

Нас пули с тобою пока ещё милуют,
Но трижды поверив, что жизнь уже вся,
Я всё-таки горд был за самую милую,
За горькую землю, где я родился.

За то, что на ней умереть мне завещано,
Что русская мать нас на свет родила,
Что, в бой провожая нас, русская женщина
По-русски три раза меня обняла.

1941



Майор привёз мальчишку на лафете.
Погибла мать. Сын не простился с ней.
За десять лет на том и этом свете
Ему зачтутся эти десять дней.

Его везли из крепости, из Бреста.
Был исцарапан пулями лафет.
Отцу казалось, что надёжней места
Отныне в мире для ребёнка нет.

Отец был ранен и разбита пушка.
Привязанный к щиту, чтоб не упал,
Прижав к груди заснувшую игрушку,
Седой мальчишка на лафете спал.

Мы шли ему навстречу из России.
Проснувшись, он махал войскам рукой.
Ты говоришь, что есть ещё другие,
Что я там был и мне пора домой...

Здесь это горе знают понаслышке,
А нам оно оборвало сердца.
Кто раз увидел этого мальчишку,
Домой придти не сможет до конца.

Я должен видеть теми же глазами,
Которыми я плакал там, в пыли,
Как тот мальчишка возвратится с нами
И поцелует горсть своей земли.

За всё, чем мы с тобою дорожили,
Призвал нас к бою воинский закон.
Теперь мой дом не там, где прежде жили,
А там, где отнят у мальчишки он.

За тридевять земель, в горах Урала,
Твой мальчик спит. Испытанный судьбой,
Я верю, мы во что бы то ни стало
В конце концов увидимся с тобой.

Но если нет, когда наступит дата,
Ему, как мне, идти в такие дни,
Вслед за отцом, по праву, как солдата,
Прощаясь с ним, меня ты помани.

1941

АТАКА

Когда ты по свистку, по знаку,
Встав на растоптанном снегу,
Был должен броситься в атаку,
Винтовку вскинув на бегу,

Какой уютной показалась
Тебе холодная земля,
Как всё на ней запоминалось:
Промёрзший стебель ковыля,

Едва заметные пригорки,
Разрывов дымные следы,
Щепоть рассыпанной махорки
И льдинки пролитой воды.

Казалось, чтобы оторваться,
Рук мало — надо два крыла.
Казалось, если лечь, остаться,—
Земля бы крепостью была.

Да, этим мыслям, ты им верил
Секунду с четвертью, пока
Ты сам длину им не отмерил
Длиною ротного свистка.

Когда осекся звук короткий,
Ты в тот неуловимый миг
Уже тяжёлою походкой
Бежал по снегу напрямик.

Осталась только сила ветра,
И грузный шаг по целине,
И те последних тридцать метров,
Где жизнь со смертью наравне.

Но до немецкого окопа
Тебя довёл и в этот раз
Твой штык, которого Европа
Не сможет перенять у нас.

1942

ПЕХОТИНЕЦ

Уже темнеет. Наступленье,
Гремя, прошло свой путь дневной.
И в нами занятом селенье
Снег смешан с кровью и золой.

У журавля, где как гостинец
Нам всем студёная вода,
Ты сел, усталый пехотинец,
И всё глядишь назад, туда,

Где, в полверсте от крайней хаты,
Мы, оторвавшись от земли,
Под орудийные раскаты,
Уже не прячась, в рост пошли.

И ты уверен в эту пору,
Что раз такие полверсты
Ты смог пройти, то, значит, скоро
Пройти всю землю сможешь ты.

1942

СЛАВА

За пять минут уж снегом талым
Шинель запорошилась вся,
Он на земле лежит, усталым
Движеньем руки занеся.

Он мёртв. Его никто не знает.
Но мы ещё на полпути,
И слава мёртвых окрыляет
Тех, кто вперёд решил идти.

В нас есть суровая свобода:
На слёзы обрекая мать,
Бессмертье своего народа
Свою смертью покупать.

1941

СМЕРТЬ ДРУГА

Памяти Евгения Петрова

Неправда, друг не умирает,
Лишь рядом быть перестаёт.
Он кров с тобой не разделяет,
Из фляги из твоей не пьёт.

В землянке, занесён метелью,
Застольной не поёт с тобой
И рядом под одной шинелью
Не спит у печки жестяной.

Но всё, что между вами было,
Всё, что за вами следом шло,
С его останками в могилу
Улечься рядом не смогло.

Наследник гнева и презренья,
С тех пор, как друга потерял,
Двойного слуха ты и зренья
Пожизненным владельцем стал.

Любовь мы завещаем жёнам,
Воспоминанья — сыновьям.
Но по полям, войной сожжённым,
Идти завещано друзьям.

Никто ещё не знает средства
От неожиданных смертей.
Всё тяжелее груз наследства,
Всё уже круг твоих друзей.

Неси ж их груз, в боях кочуя,
Не оставляя ничего,
С ним вместе под огнём ночуя,
Неси его, носи его!

Когда же ты нести не сможешь,
То знай, что, голову сложив,
Его ты только переложить
На плечи тех, кто будет жив.

И кто-то, кто тебя не видел,
Из третьих рук твой груз возьмёт,
За мёртвых мстя и ненавидя,
Его к победе донесёт.

1942

ФЛЯГА

Когда в последний путь
Ты отправляешь друга,
Есть в дружбе, не забудь,
Посмертная услуга:

Оружье рядом с ним
Пусть в землю не ложится,
Оно ещё с другим
Успеет подружиться.

Но флягу, что с ним дни
И ночи коротала,
Над ухом ты встряхни,
Чтоб влага не пропала,

И копь ударит в дно
Зелёный хмель солдатский, —
На два глотка вино
Ты раздели по-братски.

Один глоток отпей,
В земле чтоб мёртвым спалось
И дольше чтоб по ней
Живым ходить осталось.

Оставь глоток второй
И, прах предав покою,
С ним флягу ты зарой,
Была чтоб под рукою.

Чтоб в день победы смог,
Как равный, вместе с нами
Он выпить свой глоток
Холодными губами.

1943

БЕЗЫМЯННОЕ ПОЛЕ

За Дон мы отходим, товарищ,
Опять проиграли мы бой,
Степное кровавое солнце
Заходит у нас за спиной.

Мы мёртвым глаза не закрыли,
Придётся нам вдовам сказать:
Мы слишком с тобою спешили,
Чтоб долг им последний отдать.

Не в честных солдатских могилах, —
Лежат они прямо в пыли,
Но, мёртвых отдав поруганью,
Зато мы живыми пришли.

Не правда ль, мы так и расскажем
Их вдовам и их матерям:

— Мы бросили их на дороге,
Зарыть было некогда нам.

Ты, кажется, слушать не можешь?
Ты руку занёс надо мной.
За слов моих страшную горечь
Прости мне, товарищ родной.

Прости мне мои оскорбления,
Я с горя тебе их сказал,
Я знаю, ты рядом со мною
Сто раз свою грудь подставлял.

Я знаю, ты пух не боялся,
И жизнь, что дала тебе мать,
Берег ты с мужскою надеждой
Её подороже продать.

Ты скажешь, что мёртвых порою
Завидовал сам ты судьбе,
Что мёртвые сраму не имут.
— Нет, имут,— скажу я тебе.

Когда на восток мы уходим,
Мне чудится, в страшной ночи
Встают мертвецы всей России,
Поют мертвецам трубачи.

Беззвучно играют их трубы,
Незримы от ног их следы,
Словами беззвучной команды
Их ротные строят в ряды.

Они не хотят оставаться
В забытых могилах своих,
Чтоб пушек немецких колёса
К востоку ползли через них.

В бело-зелёных мундирах,
Как при Великом Петре,
Мёртвые преображенцы
Строятся молча в каре.

Плачут седые капралы,
Протяжно играет рожок,
Впервые с Полтавского боя
Уходят они на восток.

Из-под твердынь Измаила,
Не знавший досель ретирад,
Понуро уходит последний
Суворовский мёртвый солдат.

Гремят барабаны в Карпатах,
И трубы над Бугом поют,
Сибирские мёртвые роты
У стен Перемышля встают.

И на истлевших постромах,
Вспять через Неман и Прут,
Артиллерийские кони
Разбитые пушки везут.

Так дай же мне клятву, товарищ,
Что больше ни шагу назад,
Чтоб больше не шли вслед за нами
Безмолвные тени солдат.

Чтоб там, где мы стали сегодня,
Пригорки да мелкий лесок,
Куриный ручей в пол-аршина,
Прибрежный отлогий песок,

Чтоб этот, досель неизвестный
Кусок нас родившей земли
Стал местом последним, докуда
Последние немцы дошли.

Пусть то безымянное поле,
Где нынче пришлось нам стоять,
Вдруг станет той самой твердыней,
Которую немцам не взять.

Ведь тоже в Можайском уезде
Лишь знали названье села,
Которое позже Россия
Бородиным назвала.

Июль 1942 года

УБЕЙ ЕГО

Если дорог тебе твой дом,
Где ты русским выкормлен был,
Под бревенчатым потолком,
Где ты, в люльке качаясь, плаыл;
Если дороги в доме том
Тебе стены, печь и углы,
Дедом, прадедом и отцом
В нём исхоженные полы;
Если мил тебе бедный сад
С майским цветом, с жужжанием пчёл
И под липой сто лет назад
В землю вкопанный дедом стол;
Если ты не хочешь, чтоб пол
В твоём доме немец топтал,
Чтоб он сел за дедовский стол
И деревья в саду сломал...

Если мать тебе дорога,
Тебя выкормившая грудь,
Где давно уже нет молока,
Только можно щекой прильнуть;
Если вынести нету сил,
Чтобы немец, её застав,
По щекам морщинистым бил,
Косы на руку намотав,
Чтобы те же руки её,
Что несли тебя в колыбель,
Немцу мыли его бельё
И стелили ему постель...

Если ты отца не забыл,
Что качал тебя на руках,
Что хорошим солдатом был
И пропал в карпатских снегах,
Что погиб за Волгу, за Дон,
За отчизны твоей судьбу;
Если ты не хочешь, чтоб он
Перевёртывался в гробу,
Чтоб солдатский портрет в крестах
Немец взял и на пол сорвал
И у матери на глазах
На лицо ему наступал...

Если ты не хочешь отдать
Ту, с которой вдвоём ходил,
Ту, что долго поцеловать
Ты не смел, — так её любил, —
Чтобы немцы её живьём
Взяли силой, зажав в углу,
И распяли её втроём
Обнажённую на полу,
Чтоб досталось трём этим псам,
В стонах, в ненависти, в крови,
Всё, что свято берёг ты сам,
Всею силой мужской любви...

Если ты не хочешь отдать
Немцу, с чёрным его ружьём,
Дом, где жил ты, жену и мать,
Всё, что Родиной мы зовём, —
Знай: никто её не спасёт,
Если ты её не спасёшь.
Знай: никто его не убьёт,
Если ты его не убьёшь.
И пока его не убил,
То молчи о своей любви,
Край, где рос ты, и дом, где жил,
Своей родиной не зови.

Если немца убил твой брат,
Если немца убил сосед, —

Это брат и сосед твой мстят,
А тебе оправданья нет.
За чужой спиной не сидят,
Из чужой винтовки не мстят.
Если немца убил твой брат, —
Это он, а не ты, солдат.
Так убей же немца, чтоб он,
А не ты, на земле лежал,
Не в твоём доме чтобы стон,
А в его по мёртвом стоял.
Так хотел он, его вина —
Пусть горит его дом, а не твой,
И пускай не твоя жена,
А его пусть будет вдовой.
Пусть заплачется не твоя,
А его родившая мать,
Не твоя, а ого семья
Понапрасну пусть будет ждать,

Так убей же хоть одного!
Так убей же его скорей,
Сколько раз увидишь его,
Столько раз его и убей!

Июль 1942 года

СОЛДАТСКИЙ РАЗГОВОР

Последний кончился огарок,
И по невидимой черте
Три красных точки трёх цыгарок
Безмолвно бродят в темноте.

О чём наш разговор солдатский?
О том, что нынче Новый год,
И света нет, и холод адский,
И снег, как каторжный, метёт.

Один сказал: — Моя сегодня
Полю помоет, как при мне.

Потом детей, чтоб быть свободней,
Уложит. Сядет в тишине.

Ей сорок лет — мы с ней погодки.
Всплакнёт ли, просто ли вздохнёт,
Но уж, наверно, рюмкой водки
Меня по-русски помянёт...

Второй сказал: — Уж год с лихвою
С моей война нас развела.
Я, с молодой простясь женою,
Взял клятву, чтоб верна была.

Я клятве верю, коль не верить,
Как проживёшь в таком аду?
Наверно, всё глядит на двери,
Всё ждёт, сегодня — вдруг приду...

А третий лишь вздохнул устало:
Он думал о своей — о той,
Что с лета прошлого молчала
За чёрной фронтовой чертой...

И двое с ним заговорили,
Чтоб не грустил он, про войну,
Куда их жёны отпустили,
Чтобы спасти его жену.

1943

СЛЕПЕЦ

На видевшей виды гармонии,
Перебирая хриплый строй,
Слепец играл в чужом вагоне
«Вдоль по дороге столбовой».

Ослепнувший под Молодечно
Ещё на той, на той войне,
Из лазарета он, увечный,
Пошёл, зажмурясь, по стране.

Сама Россия осенила
Крестом калеку в забытьи
И но владенье подарила
Дороги длинные свои.

Он шёл, к увечью привыкая.
Струились слёзы по лицу.
Вилась дорога столбовая,
Навеки данная слепцу.

Все люди русские хранили
Его, чтоб был он невредим,
Его крестьяне подвозили,
И бабы плакали над ним.

Проводники вагонов жёстких
Через Сибирь его везли.
От слёз засохшие полосы
Вдоль чёрных щёк его легли.

Он слеп, кому какое дело
До горестей его чужих?
Но вот гармонь его запела,
И кто-то первый вдруг затих...

И сразу на сердца людские
Печаль, сводящая с ума,
Легла, как будто вдруг Россия
Взяла их за руки сама

И повела под эти звуки
Туда, где пепел и зола,
Где женщины ломают руки
И кто-то бьёт в колокола,

По деревням, по пепелищам,
Среди нагнувшихся теней.
— Чего вы ищете? — Мы ищем
Своих детей, своих детей...

По бедным, вымершим равнинам,
По жёлтым волчьим огонькам,

По дымным заревам, по длинным
Степным беснежным пустырям,

Где со штыком в груди открытой
Во чистом поле, у ракии,
Рукой родною не обмытый
Сын русской матери лежит,

Где ничего не напророчишь
Черней того, что было там...

.

— Стой, гармонист! Чего ты хочешь?
Зачем ты ходишь тут и там?

Своё израненное тело
Уже я нёс в огонь атак.
Тебе Россия петь велела?
Я ей не изменю и так.

Скажи ей про меня: не станет
Солдат напрасно отдыхать,
Как только раны чуть затянет,
Пойдёт солдат на бой опять.

Скажи ей: не ища покоя,
Пройдёт солдат кровавый путь.
Ну, и сыграй ещё такое,
Чтоб мог я сердцем отдохнуть...

.

Слепец лады перебирает,
Он снова только стар и слеп.
И раненый слезу стирает
И режет пополам свой хлеб.

1943

ТРИ БРАТА

Россия, родина, тоска...
Ты вся в дыму, как поле боя.
Разломим хлеб на три куска,
Поделится между собою.

Нас трое братьев. Говорят,
Как в сказке, мы неодолимы.
Старшой, меньшей и средний брат,
Втроем идём мы в дом родимый.

Идём, не прячься непогод,
Идём, не ждя, чтоб даль светала.
Мы путники. Уж третий год
Нам посохом винтовка стала.

Наш дом ещё далёк, далёк...
Он там, за боем, там, за дымом.
Он там, где тлеет уголёк
На пепелище нелюдимом.

Он там, где, нас уставши ждать,
Босая на жнивье колючем,
Всё плачет, плачет, плачет мать,
Всё машет нам платком горячим.

Как снег был бел её платок,
Но путь наш долог был и торен,
И стал от пыли тех дорог,
Как скорбь, он чёрен, чёрен, чёрен...

Нас трое братьев. Кто дойдёт?
Кто счёт сведёт долгам и ранам?
Один из нас в пыли падёт,
Как сноп, сражён железом бранным.

Второй, израненный врагом,
Окровавлён, в пути отстанет
И битв былых слепым певцом,
Быть может, вдохновенно станет.

Но невредимым третий брат
Придѣт домой, и дверь откроет,
И материнский чѣрный плат
В крови врага стократ омоет.

1943

У ОГНЯ

Кружится испанская пластинка,
Изогнувшись в тонкую дугу,
Женщина под чѣрною косынкой
Пляшет на вертящемся кругу.

Одержима яростною верой
В то, что он когда-нибудь придѣт,
Вечные слова «Jo te quiєго»¹
Пляшущая женщина поѣт.

В дымной, промерзающей землянке,
Под накатом брёвен и земли,
Человек в тулупе и ушанке
Говорит, чтоб снова завели.

У огня, где жарятся консервы,
Греет свои раны он сейчас,
Под Мадридом продырявлен в первый,
И под Сталинградом — в пятый раз.

Он глаза устало закрывает,
Он да песня — больше никого...
Он тоскует? Может быть. Кто знает?
Кто спросить посмеет у него?

Проволоку молча прогрызая,
По снегу ползут его полки.
Южная пластинка, замерзая,
Делает последние круги.

¹ По-испански — «Я тебя люблю».

Светит догорающая лампа,
Выстрелы да снега синева...
На одной из улочек Дель-Кампо,
Если ты сейчас ещё жива,

Если бы неведомою силой
Вдруг тебя в землянку залучить,
Где он тот, голубоглазый, милый,
Тот, кого любила ты, спросить?

Ты, подняв опущенные веки,
Не узнала б прежнего, того,
В грузном, поседевшем человеке,
В новом, грозном имени его.

Что ж, пора. Поправив автоматы,
Встанут все. Но, подойдя к дверям,
Вдруг он вспомнит и мигнёт солдату:
— Ну-ка, заведи вдогонку нам.

Тонкий луч за ним блеснёт из двери,
И метель их сразу обовьёт.
Но, как прежде, радуясь и веря,
Женщина вослед им запоёт.

Потеряв в снегах его из вида,
Пусть она поёт ещё и ждёт:
Генерал упрям, он до Мадрида
Всё равно когда-нибудь дойдёт.

1943.

ДОМ В ВЯЗЬМЕ

Я помню в Вязьме старый дом.
Одну лишь ночь мы жили в нём.

Мы ели то, что бог послал,
И пили, что шофёр достал.

Мы уезжали в бой чуть свет.
Кто был в ту ночь, иных уж нет.

Но знаю я, что в смертный час
За тем столом он вспомнил нас.

В ту ночь, готовясь умирать,
Навек забыли мы, как лгать,

Как изменять, как быть скупым,
Как над добром дрожать своим.

Хлеб пополам, кров пополам —
Так жизнь в ту ночь открылась нам.

Я помню в Вязьме старый дом.
В день мира прах его с трудом

Найдём среди выжженных печей
И обгорелых кирпичей.

Но мы складчину соберём
И вновь построим этот дом.

С такой же печкой и столом
И накрест клеенным стеклом.

Чтоб было в доме всё точь в точь,
Как в ту, нам памятную ночь.

И если кто-нибудь из нас
Рубашку другу не отдаст,

Хлеб не поделит пополам,
Солжёт или изменит нам

Иль, находясь в чинах больших,
Друзей забудет фронтовых,

Мы суд солдатский соберём
И в этот дом его сошлём.

Пусть посидит один в дому,
Как будто утром в бой ему,

Как будто, если лжёт сейчас,
Он, может, лжёт в последний раз,

Как будто хлеб он не даёт
Тому, кто к вечеру умрёт,

И палец подаёт тому,
Кто завтра жизнь спасёт ему.

Пусть вместо нас лишь горький стыд
Ночь за столом с ним просидит.

Мы, встретясь, по его глазам
Прочтём: он был иль не был там.

Коль не был, — значит, круг друзей
На одного ещё тесней.

Но если был, мы ничего
Не спросим больше у него.

Он вновь по гроб нам будет мил,
Пусть просто скажет: — Я там был.

1943

ДРУЖБА

Солдат устал. Десятый день не спали,
Десятый день шли тяжкие бои,
Когда солдат услышал на привале:
«Друзья мои!»

Страшнее клятвы и сильней приказа
Звучали те слова, что он сказал,
Хоть не видал солдат его ни разу,
Лишь сердцем знал.

А был уверен в этом человеке
Сильнее, чем в соседях и родных.
Судьба свела и сделала навеки
Друзьями их.

И шёл солдат в боях до Сталинграда,
И насмерть став, готовый к смерти сам,
Во имя дружбы не давал пощады
Своим врагам.

Во имя дружбы, не во имя славы
Шёл снова, раны залечив свои,
Во имя слов простых и величавых:
«Друзья мои».

Сто раз солдат был ранен и контужен,
Тонул, горел, так и не мог сгореть.
С тем человеком был он слишком дружен,
Чтоб умереть.

Когда на танк в три человеческих роста
Он, как на зверя, шёл, чтоб порешить,
Не потому, что был герой, а просто
Умел дружить.

Когда в трудах солдатских нёс он службу,
По десять суток мёрз, не ел, не спал,
Богатырём он не был. Просто дружбу
Так понимал.

Повсюду, где б он ни был, как вначале,
У волжской, у дунайской ли струи,
Ему слова бессмертные звучали:
«Друзья мои!»

В своём окопе, заметённый снегом,
В воде по горло, в грохоте гранат,
Был дружбою с великим человеком
Велик солдат.

Зато и в самый трудный день когда-то,
Тот, с кем навеки подружился он,
В своих решеньях дружбою солдата
Был укреплён.

1944

СОДЕРЖАНИЕ

«Всю жизнь любил он рисовать войну...»	3
Генерал	4
Рассказ о спрятанном оружии	5
Изгнанник	9
Старик	11
Мальчик	13
Мурманские дневники	14
Транссибирский экспресс	19
Механик	20
Кукла	21
Танк	22
«Семь километров северо-западнее Баин-Бурта...»	23
Поручик	23
Родина	25
«Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины...»	26
«Майор привёз мальчишку на лафете...»	28
Атака	29
Пехотинец	30
Слава	31
Смерть друга	31
Фляга	32
Безымянное поле	33
Убей его	36
Солдатский разговор	38
Слепец	39
Три брата	42
У огня	43
Дом в Вязьме	44
Дружба	46

Отв. редактор — А. СУРКОВ.

А—01367. Тираж 100.000. Подп. к печ. 15/І—47 г. Зак. 2423.

Типогр. газеты «Правда» имени Сталина. Москва, ул. «Правды», 24.

Цена 60 коп.